

## ДМИТРИЙ РОМАНОВ



## ДРУГАЯ РУСЬ

Из цикла рассказов “Записки велосипедиста”

### ХУДОЖНИЦА

Работать в газету “Другая Русь” я пришёл от полного безденежья. В других местах диплом Литинститута действовал, как красная тряпка, вымоченная в крови мировой совести. Но в этом камерном издании при одном упоминании фамилии Розанова, например, или всеми забытого Пильняка близилась слеза радости.

Сперва я занимался корректурой, опросами, были робкие попытки выйти за формат. Через полгода свершилось моё первое журналистское расследование. А безденежье так никуда и не делось. И не мудрено, когда втягиваешься в такую авантюру. Но о ней в своё время.

А пока эпизоды жизни шли цепочкой. Звенья её ложились на шестерню, вращая ось, и колесо шуршало по гравийной дороге. Движение жизни мне вдруг увиделось как бы верхом на велосипеде. Наши классики уже как только ни были горазды его видеть — и гоголевская птица-тройка была, и загнанная кобыла Достоевского, и локомотив Толстого, который сменился

---

*РОМАНОВ Дмитрий Дмитриевич родился в Люберецком районе Московской области в 1986 году. Детство провёл в деревне Кузяево в доме деда, предки которого относились к старообрядческому духовенству. Первое высшее образование получил в Московском институте тонких химических технологий им. М. В. Ломоносова. Второе — Литературный институт им. А. М. Горького, проза. Совершил ряд путешествий по Северу России, Кавказу, Тибету и Алтайским горам, изучая народный быт и собирая фольклор. Публиковался в журналах “Юность”, “Сибирские огни”, альманахах “Радуга”, “Лёд и пламень”, “Мир Паустовского”. Лауреат премии им. Валентина Катаева журнала “Юность” 2014 года.*

теперь Пелевинской “Жёлтой Стрелой”. Наконец, и я, робкий ученик великих мира сего, впал в отчаянный символизм.

Всё эта “Другая Русь”. Мне предложили написать обзор провинциальных чайний и толков, добавив, что страна не оканчивается за сто первым километром. Обозреватели “Другой Руси” наводили линзу гласности на тёмную материю постсоветского развала. Столичный взгляд со стороны в противовес местным газетам, всегда предвзятым, худой типографской грудью в кляксах свинцовой краски стоящим за своего земляка.

Главный редактор дал мне фокус — от Дубны до Костромы. И это было терпимо, коллеге повезло меньше — рабсылка в Челябинск.

— Погуляй, посмотри по деревням и сёлам, как живут, чего хотят. Сходи в муниципалку, в столовые, на дискотеки там всякие. Как ветераны... как надой...

Я уже, было, затосковал. Надой... “Мэр Суловки отметил важность озеленительной работы”. Кому оно надо? Вот уже по руке на карандаш перебралась плесень, захватила лист блокнота, второй... А прочитаешь, что написал — глядь, а плесень уже глазную склеру проела. И через год тридцатилетний старик ты. Всё уже было... было!

И я решил так: беру свой старый добрый велосипед, рюкзак, сажусь на электричку до города Кимры. Там схожу, верхом в седло и — лицо по ветру.

Но ещё из окна вагона Кимры мне не понравились. А кому понравится город в блокаде ливневых стен? Поехал дальше до платформы Стрельчиха, где дождь кончился, а я вышел, привлечённый станционным безлюдьем.

Теперь отсюда сорок километров до Калязина — сначала вдоль ртутного полотна, затем по шоссе — от Волги мимо ветвистой реки Нерль. Калязин мне был интересен затонувшей церковью с маяком колокольни из глубокой воды. При постройке ГЭС старый Калязин ушёл под воду, и теперь рыбак забрасывает удочку над крышей родительского дома.

И вот пошёл привод моей цепи. Распогодилось.

Тяжёлая Волга по левую руку, скатанные в рулоны поля — по правую, где у горизонта чернеет лесная шерсть. После ливня посвежело, пробрало бодростью. В половине метра над землёй я летел, раскинув руки тенью креста. И смоченное сено струило одор, нагонявший детскую тоску и радость.

По карте впереди находилось несколько деревень. Древность резных наличников граничила в них с ветошью запустенья, ясно говоря: отелей тут нет. Значит, нужно было добраться до Калязина, где их в избытке на ночь.

Через час дорога треснула и просела, редкие машины медленно объезжали метровые ямы, а лучистое после дождя солнце принесло зной.

Вскоре начало печь так, что каждые пятнадцать минут приходилось делать привалы в тени, где едва ли было легче. Казалось, я варился в собственном поту на асфальтовой сковородке с душистой приправой из луговой полыни. Миновав первую деревню, я не увидел ни души. Тишина, густая от рёва цикад, прерывалась только движением на трассе.

Поборов искушение поймать попутку, я снова поплыл в дрожащем мареве. Наконец, даже цикады ушли на сиесту, и тут стало ясно, что никуда до вечера мне не попасть.

К счастью, за рощицей показалась река. Я свернул в поле по тракторной колее. Два протекторных следа от моих колёс тянулись по треснувшей земляной плёнке, где грелись белокрылые капутницы. Лёгкость бабочек дразнила, и хотелось въехать в реку прямо на велосипеде.

Съезд к воде оказался что надо — в сезон тут был брод, и колея исчезала в реке, невозмутимо выходя снова в поле на том берегу. Справа и слева берег начинал возвышаться и, покуда глаз хватало, шёл стеной. Таким образом, я стоял меж двух холмов прямо перед плёсом.

Никого вокруг, только далеко в пшенице отдыхал перегретый комбайн. Я сбросил рюкзак и футболку, примяв их камышом, и прямо в шортах вошёл в реку.

Есть загадочная нега в отерочке удовольствия. Смакуя каждый шаг, чувствуя звон в ушах и близкий тепловой удар, я не торопился броситься

с головой. Раскалённую сковороду медленно опускают в воду. А вот уже перед носом расходятся пахучие волны, обостряется обоняние.

Не решаясь удалиться в течение, я плыл у берега. Он был так высок, что отбрасывал тень, местами понижался, и можно было зацепиться и вылезти, подтянувшись.

Меня сносило, и плыть обратно возможности не было. Я уже искал глазами местечко поудобнее, где вытащить себя из воды, как вдруг заметил человека.

Он сидел в тени ив на высоком берегу и был почти полностью скрыт за деревянным щитом. Я выбрался, цепляясь за корневища сосен, и, перемазанный илом с песком, пошлёпал вдоль реки обратно. Тропка вела мимо человека.

Это оказалась девушка. Видимо, она заметила меня ещё в воде, но предпочла и дальше заниматься своим делом. Она рисовала, и то, что я принял за щит, оказалось мольбертом. Я слегка сбавил шаг, пытаюсь разглядеть, что было на холсте, и она поняла моё любопытство.

Вполоборота ко мне она чуть посторонилась, как бы давая обзор холста. На нём почти фотографически повторялся вид реки и другого берега и далёкий лес за холмами с присущим Шишкину и Левитану русским махом.

— У вас просто нет слов как здорово выходит! — сказал я, не лукавя.

— Спасибо. Приятно слышать.

Солнце пробивало ивняк за моей спиной, и она щурилась.

— Вы где-то учились?

— Нет, всё сама. Захотелось и пришло.

Ей было лет двадцать пять, хотя по хрупкости и белизне с первого взгляда она казалась подростком. Но особый блеск глаз и лучики вокруг них выдавали древнюю душу. Лиловый платок скрывал голову массивным шаром, открывая, однако, виски и худенькую шею. По ним я заметил, что она была острижена коротко, почти под ноль. На ней была длинная туника цвета платка. И никаких лишних украшений, ни единой мишуры — только тонкие голубые пальцы чуть тронуты масляной краской.

— И уж если вы тут, — сказала она, — не дадите ли стакан воды? Вон он. Не хочу потерять цвет.

Я взял стакан, налил из бутылки и подал ей. Она с благодарностью взяла его двумя пальцами, придерживая кисть и палитру, слою краски в которой уже сползали один на другой.

— Вы меня просто спасли.

— Удивляюсь вашей стойкости. Вернее, усидчивости. В такое-то пекло...

— А что делать? — она уже вновь ушла в работу, не глядя на меня, — *Carpe diem\**. Завтра и небо уже не то будет, и этот подозрительный комбайн поубавит золота на поле.

— Художник работает на опережение, — согласился я и уже собрался идти.

— Как вода? — продолжила она.

— Спасительна. На полчаса бодрости хватит. Но не знаю, как ехать дальше.

— Газ в пол, — говорила она, не шевелясь, как бы удерживая поднятой кистью холмы и облака.

— О, я на велосипеде.

— Живёте тут?

— Нет, проездом. Хотел добраться до Калязина, но боюсь, на ночь придётся кинуть кости прямо в поле.

Холодные камни взглянули на меня. Встречать этот взгляд было приятно и тревожно одновременно, только я не понимал, что вызывало тревогу.

— Не надо в поле, — сказала она. — Часа через два вы доберётесь до деревни. Это не первая, а вторая отсюда. Большой кирпичный дом, он там один такой. В нём живёт прекрасный человек, который оставит вас на ночь...

— Да что вы... какие хлопоты, — засмутился я.

---

\* *Лови момент (лат.).*

— Я говорю вам. Вечером будет гроза. Вон, видите, какие там облака? Не хватало, чтобы после такого перегрева вы подхватили воспаление.

— Да, я слышал, обещали грозу.

— Так что езжайте к нему. Как раз к шести он будет дома.

— Вот так, ни с того ни с сего заявиться? У него гостевой дом?

— Нет, просто он очень хороший человек и никогда не откажет в помощи. Ещё скажите, что вы от Риты. Это я.

Я решил списать это на причуды художников — божественный мир, сквот и коммуна. Возможно, там живут десятки бродячих артистов, и добрый хозяин только рад новым лицам.

— Его дядя Сева зовут. Всеволод Михалыч. Но поскольку он почти святой, то официоз ни к чему.

— Вот как, — наверное, в моей ухмылке ей почуялась доля иронии, и она снова охладила меня взглядом.

— Я предвижу будущее, — сказала она.

Распрощавшись с Ритой, я ещё раз омылся в реке и поспешил на трассу. Не более часа прошло, как пришлось свить теневое гнездо в придорожных зарослях и ждать, пока жара хоть немного спадёт. Ещё через полчаса миновал первую деревню, о которой говорила девушка, а небо покрылось свинцовой гематомой. В высях порвались шкуры, прокатились глыбы.

Дальние тучи свесили косые хвосты, выжимая из воздуха ветер. Сверкнула молния. Рита и впрямь предвидела будущее — и дождь, и то, что через полчаса я стучался в ворота единственного кирпичного дома второй деревни.

Лило волнами. Каждый порыв ветра сбивал струи в новую волну, и вода била в рот и ноздри. Я был рад освежиться, но понимал, что прогулка под таким дождём грозит не только зубной болью.

Двери растворились в стене ливня, без единого слова кто-то схватил меня за плечо и потащил внутрь. Я стоял в просторной, хотя очень захлащенной террасе и жал руку высокому чернобровому человеку. Пароль “от Риты” в принципе был не нужен — ещё до этих слов он предложил мне пройти в дом, где кипел на плите чайник и громко ревели радио.

— Я как знал! Как знал, что вы придёте.

Мы представились друг другу, он предложил называть его просто Сева, хотя был много старше меня. Никого больше не было, Сева жил один.

— Поскольку я очень люблю поговорить, — сказал он, выключая приёмник, — но живу один и гости в нашем краю — редкость, то предлагаю вам слово. Нет-нет, я знаю, что могу увлечься и утомить вас своей речью, да. Я, знаете ли, врач, и со мной бывает скучно — профдеформация. Как будто мир сошёлся на одной поликлинике, да.

Сева сутулился у плиты так, будто потолок был ему низок. От размашистых движений дребезжал фарфор, когда он наливал чаю и ставил на стол глиняную бутылку.

— Это вот настоечка моя стотравная... одна из. Сам собираю на лугу. В чай — верное дело. Отведайте, да?

Я залил в кружку с чаем душистого спирта и рассказал о своей поездке.

— Никогда не слышал о такой газете, — его немного косящие глаза заглялись интересом. — Расскажите, зачем она?

Он выражался необычно — так, как выражаются люди умные, однако лишённые собеседников, с кем упорядочить навык общения. Одни в глуши лесов сосновых.

— Возможно, друг мой, именно журналистике предстоит спасти мир, да. Но очень нескоро. Для этого нужны альтруисты на хлебе и воде. Теперь жёлтая эра, и двуглавая змея — деньги и скандал — вот бог журналистики. А его вера — чужое горе. Но я вижу в вас зародыш новой эры. Это хорошо, да. Я раньше думал, что только медицина — достойное призвание. Поработал в ней двадцать лет, убедился, что и тут нажива на чужой занозе. Давайте немножко коньяку? Сейчас давление упало — поглядите только, что за окном! Ураган... Это поможет, да.

Сева достал из старинного шкафа пузанчик коньяку.

— А возможно, я просто старый дурак. Не верите? Мне шестьдесят. Что волосы чёрные? Это гены. Не видать мне серебра мудрости. Сколько живу, а всё темна голова.

Дождь утих, но шёл упорно и просвета не обещал. Я пытался заговорить о ночлеге, но Сева не захотел слушать, просто указав на дверь в комнату.

— Там всё ваше. Завтра утром только встанете пораньше, ибо мне на работу. Смена — никуда не деться.

— И какова работа в местной поликлинике?

— А так и запишите в вашу газетку “нехватка молодой крови”. Пора, пора молодёжи, да! Скучно, знаете ли, одни старички, да я сам такой же. Раньше, бывало, организуешь команду, в футбол, в шахматы турниром, поход коллегиальный с палатками. А сейчас хожу себе один. Не стало молодых. Всё у нас одна сомнамбула. Только я, старый еврей, не найду себе места. Вот и рад вам. А впрочем, и не только со скуки рад. Что, ещё одну-две?

И он подливал и подливал, а я всё не отказывался. И спросил про Риту.

— Ну всё же вы знакомы с художницей — а это уже много!

— Я вас прошу... Это божий подарок. Она ведь раньше не была художницей, и открыла в себе дар — вы не поверите! — буквально вчера. Да.

— Удивительное дело. Она сказала, что не училась, что само... Но вот прямо с нуля, да так...

— Это не с нуля, мой друг, это вот здесь, — он кольнул пальцем себе в темя, — открывается такой особый канал и подключается к источнику всетворения. Она — счастливейший человек, скажу я вам, да. Наверное, самый счастливый из всех, кого я знаю. Горе и ужас так сильно клокотали в ней, что пробили этот самый канал, открывший ей исток неиссякаемого счастья.

— Горе и ужас? — я попытался посерьёзнить, но когда нахмурился, понял, что глаза мои разъезжаются, и решил повременить с очередной наливкой, а мой собеседник в одиночку махнул заворотного и начал свой рассказ.

— Знаете, она ваша ровесница. Через три дома от меня живёт её бабуля. Она уже такая... несамостоятельная, уже не может одна. Но вот волею судеб приехала внучка Рита. Хотя сама-то из Твери, и приехала по собственной нужде. В детстве всегда на лето сюда определялась — я её с детства и знаю. Они чуть что — ко мне за терапией. Егоза такая была, да, в гостях у меня со скляночками играла. Вообще у меня раньше всегда гостили, пока было кому гостить. Отца её знал, да он уже тут не бывает. И никого, кроме бабули, не было лет десять. Риты тем более — чего молодой в нашем дедоме сидеть, да?

А вот недавно еду из центральной клиники в автобусе, смотрю, впереди сидит молоденькая девушка. Дай подседаю, заряджусь юной аурой. О, это вернейшее средство жить дольше — окружать себя молодостью! Вы думаете, отчего профессура в вузах столько живёт? Так вот подсел, спрашиваю — а она улыбается: “Вы что ж, меня не помните, дядь Сев?” Честное слово — я упал! Рита моя маленькая.

Она улыбается, а я смотрю — всё равно какая-то грустная она, что ли, глаза заплаканные, да. Была остановка на повороте, не наша, а раньше нашей, так она на ней собралась выходить. Я, говорит, пройтись хотела, проветриться — очень тяжело, говорит. Я — что такое? Она — такое не рассказывают, но вы доктор, вам могу... Так и так, выхожу с ней, идём по полю, в сторону реки. Где вы наверняка проезжали на своём велосипеде. Дай по бережку пройдемся, виды у нас там океанские.

Что, говорю, привело в нашу скудельню? Бабулю навещаешь? Нет, говорит, приехала подальше от людей — видеть не могу никого, да. Чего ж так? А так, говорит, заболела. И рассказала мне всю свою беду. Страшную беду, скажу вам.

Сева встал и ушёл варить кофе. То ли чтобы сбавить нерв, то ли заметил, что слушатель из меня кисельный. А когда вернулся, всё же плеснул и в кофе коньячку. Стемнело, всё ещё лило, и он не зажигал света — только камин. Треск поленьев вторил треску капель с веток вишни по карнизу. Чмокая, мы отпили кофе. Тогда Сева продолжил.

— Вам интересно, что случилось с Ритой?

— Да. Если бы я завтра же не уезжал отсюда, и мне бы довелось ещё общаться с ней — я бы не совал свой нос... Но *carpe diem*.

— Ладно-ладно, я всё понимаю. У вас же блокнотик в кармане не просто так.

— Размок... Так что же она?

— Полгода назад врачи выявили у неё рак. Печень, знаете ли... Он себя никак не проявлял, а рос, как бамбук. Пролечили её и химиями, и радиацией, и всем, чем можно, хоть вырезай. Да печёнку-то не отнимешь, а уж всюду метастаз... Бедная девочка, бедная... Весь рюкзачок обезболивающими забит.

Он стоял у окна, что-то высматривая. Словно полуночный гость пришёл. От разговора стало не по себе, я крутил в руках чашку, не подымая глаз, — может, это уже лишнее?

Я вспомнил волнение, вызванное её глазами, и теперь, как просматривая отснятую плёнку, увидел эту обнажённость. Наготу болезни, которую не скрыть. Сева услышал мои мысли.

— Боже мой, вы заметили эту гладкость лица? Волосы выпали. На Рите после всего лечения лежит печать иконы, да. Но возможно ли простому человеку принять бремя святых и мучеников?

— Не знаю...

— А я говорю, что возможно. Иначе зачем все эти рассказы и жития? Это как мерка, которой нас меряют. Дорос — не дорос. Работая врачом, понимая, насколько человек загадочен и как мало может наука, перестаёшь быть атеистом.

И вот мы идём, вокруг благодать, зелень, от реки прохлада. Но её слова меня, как кипяток. Ничего, говорит, не помогает, только замучили, только изуродовали. Скажите, дядя Сева, почему человек летит на Марс, строит космические станции, а земную болячку не может одолеть? Почему, говорит, на футбол и телевидение тратят миллиарды, а купить лекарство простому человеку денег нет? Почему закон Мёрфи, гласящий, что как только товар становится совершенным, его снимают с производства — то же касается медикаментов, — чтут больше заповедей Христа? Вот что она меня спрашивала. Но что ей мои слова? Что слова всех врачей мира? Ведь она не по прихоти от людей в деревню уехала. Чтобы подальше от слов и от жалости, потому что везде, где люди, — всюду эта жалость, да. Я вам скажу, недаром слова “жалость” и “жало” похожи. Как от злобных пчёл уехала из города девочка.

Про мучеников и святых я не просто так с вами заговорил. Вы знаете, как пророк Мухаммед получил озарение?

— Кажется, его взяли на небо, — ответил я, — и уже там...

— Нет, я не про там. Я про тут. Пока он наливал воды из кувшина, к нему явился ангел и вознёс его в высшие сферы. Верят, что там Мухаммед получил Коран, услышал голос Бога, научился быть пророком, и прочее. Но когда его вновь опустили на землю, капля из того самого кувшина ещё не успела упасть! Прозрение за один взмах ресниц!

— Я теряю нить.

— Тогда назад к Рите! Когда мы вышли на берег и решили пройтись вдоль него, она уже закончила свой рассказ, и верите — у меня глаза были на мокром месте. Я понял, чтобы беседовать с ней и сопереживать, мне необходимо выключить в себе врача. И когда я его выключил, от меня не осталось ничего. Так сильно профессия вьелась в меня. Не осталось ничего, кроме глаз, ушей... но, возможно, это и была первозданная чистота, да! Когда личность моя растаяла.

Рита остановилась над откосом. Она казалась такой худенькой, косынку трепало ветром, и там она была как мотылёк. Вот-вот — полетит над рекой, над полем... А потом, знаете, она улыбалась. И была такой же чистой. Нас обоих как бы не осталось тут, мы ушли, — он привстал из-за стола, взмахнув руками, разрывая над собой купол. — Только я ушёл в прошлое, в своё прошлое, когда я жил! — ходил в походы, имел друзей и был молодым... А она ещё глубже. Она ушла в настоящее, да. Я сентиментальный старик! Я наскучил вам...

Мне осталось только помотать головой — я сам готов был заплакать. Заметив рваный вздох, он плеснул мне коньяку.

— Давайте, осталось малость!

Мы выпили, и он продолжил.

— Мы смотрели на летнее поле, такое красивое и вольное! И тогда я просто услышал голос. Наверное, это она говорила, но меня же там не было... Голос сказал: “Как я хочу остановить это мгновение! Я ничего так не хочу и никогда не хотела, как этого мига, длящегося вечно”. Знаете, стена вечернего света встала на том берегу, закрыла луг. А перед этой стеной летела сорока. Такая яркая, вся жемчуг! А ещё выше — веер лучей, и в нём ласточка. И всё оно свет, и всё — жизнь. Как это? Как понять, как вернуть это всё?

Эта девочка была мудрей меня, потому что она была здесь и сейчас, а я, ветхий старик, только трусливо выполз в это настоящее из своих воспоминаний. Капля из кувшина не успела упасть. Я говорю ей, возьмите этот миг, прижмите его обеими руками сюда. Возвращайтесь на этот холм завтра и пишите. Теперь, Рита, вам открыт мир, говорю я. Завтра же купите кисти и мольберт. Рисуйте этот момент, смотрите, как он становится вечностью. Вам это открыто! Вы, Рита, — самый счастливый человек на земле. Вам открылось волшебство момента... Вы счастливы... Да...

Не помню, закончил ли Сева свой рассказ или там было ещё, но всё начало растворяться. Громче стал треск поленьев и капель по карнизу. Так громко, что это уже был не звук, а весь пережитый день. Всё в одной ясной тонкой линии. Её клала на холст Рита. Дарила миру мир, который когда-то был дарован ей.

Как славно, — думал я, засыпая за столом, — день даров, это был день даров!

Утром Сева собирался на автобус до поликлиники, а я мучился головой. Пришлось выпить два литра крепкого чаю с сахаром, чтобы как-то прийти в себя. Хозяин предложил мне остаться на день, но это казалось злоупотреблением, и я с благодарностью отказался.

В руинах головы плодились мысли — похмелье способствует философскому настрою. Сначала они лезли толкучкой, и всё путалось, но как только завертелись педали, мысли приоритетно построились.

Я ехал меж колдобин и всё думал — как теперь быть? О каких таких тяготах народных писать? Что Всеволоду Михайловичу не хватает в селе молодёжи? Что врач без единой мысли о здоровье пьёт горькую? Что вот такие дороги у нас, где велосипедист проедет быстрее машины...

И что? Мы получим ключ к спасению через эти статьи? Чушь! Какие всё это дразги! Какой плесневый, мелочный соцреализм! Крохоборство...

А как же быть? Сева говорил, что за журналистикой будущее. Что ж, разве что и впрямь на хлебе с водой. Это история с девушкой Ритой, большой раком, но нашедшей ключ к спасению души, — с этого я решил начать цикл своих статей, уже зная в глубине души, что моё расследование превратится в просто следование. По пути не к газете, а к людям.

Моросил тёплый дождик. Рита предвидела будущее — небо было уже не то.

## УБИЙЦА

Мальчик лежал под сосной, в развилке могучих корней. Я заметил его с тропы, что просекой вела через лес. Он не двигался, и скула его белела из-под брезентового плаща.

Ни души вокруг, на часах — семь утра. Мой путь лежал через этот пролесок, и я хотел до вечера доехать до железнодорожной станции Балакирево, что близ Александра. На велосипеде это не заняло бы много времени, и я решил на прощание вдоволь нагуляться по лесам, ведь отсюда предстояло мне вернуться в Москву. Заночевать решил где-нибудь на опушке близ станции, а уже утром сесть в поезд.

И вот, набравшись духу, я подошёл к маленькому тельцу в несоразмерно широком плаще, оглядываясь, сжимая в кармане перцовый баллон. Но веки его дрогнули, и стало ясно — спит. Рядом стояла пустая корзина с привязанным ножичком. Встав над ним, я осмотрел лицо и плащ на предмет увечий, коих не оказалось.

Под ногой моей хрустнула случайная улитка, и от звука мальчик проснулся. С недовольным сосредоточением он стягивал глаза в кучку, сон одурью клеил их и разводил зрачки в стороны. Но страха в них не было.

— Ты чего тут? — спросил я.

— Да это... поспать лёг.

Подобравшись на локтях, мальчик рассказал, что дед с отцом подняли его ни свет ни заря и потащили за грибами. А он нарочно отбился от них в чащу, вернулся на тропу и решил добрать отнятый сон. Сладкий воздух леса особо благоволил часок-другой соснуть у сосны.

— Они, наверное, уже с ума посходили, что тебя нет, — я припомнил, что будто бы слышал полчаса назад протяжные крики вдали.

— Ничего, у нас деревня тут. Я и один дойду.

Мальчугану было лет десять, и по тому спокойствию, с которым он вновь укладывался как ни в чём не бывало, и по хмурой усмешке я понял, что либо за мозолью на пятой точке он не чувствует уже отцовского ремня и только для виду, должно быть, орёт “пап-не-надо”, либо в семье у них царит примат естественного отбора. И коли ребёнок не вернулся — сам виноват.

— Но всё же стоит дать им знать.

— Не, дядь, — он уже сдвинул капюшон на глаза и с дремотной негой повёл плечами, — я им только обузой буду. Пусть лучше грибы ищут.

Заставлять его идти в чащу искать взрослых было глупо, но и с лёгкой душой оставить тут я уже не мог и потому решил отъехать по тропе до прогалины, а там сделать привал и наблюдательный пост.

Вскоре услышал голоса — крепкий мужской и сиплый — старика. Они нашли мальчишку и громко бранили. Я подобрался в своём укрытии и прислушался. Несколько хлопков по брезенту вызвали то самое “пап-не-надо”.

— Слушай ты, короед, я тебе ещё раз говорю, — это отец, — одному по лесу шляться запрещено! Пока не поймают этого... Хочешь бритвой по горлу и в кустах валяться?

Эти слова меня особенно зацепили, я тихо пробрался поближе, чтобы лучше слышать. Мальчик пробухтел что-то.

— Из Александрова, там изолятор. По этапу урок ведут, — отвечал старик, — Зек сбежал на той неделе. До сих пор поймать не могут.

— А участковый говорит, в наших лесах прячется.

Устыжённый мальчик молчал.

— Ну что, етить-колотить, хочешь с ним встречи? Он-то на тебе быстро отыграется.

— Он же за насилие с убийством сел. Ага, так и сказали — изнасиловал и убил.

— Да не раз. Серийный. По этапу шёл на Урал. Дней пять не ел, а у тебя вон щёки какие... сожрёт и спасибо не скажет.

Голоса удалялись в птичий пересвист. Сказанное про зека осело во мне, и, сам себе не признаваясь, я старался поскорей уехать из этих мест.

К вечеру показались крыши Балакиревских домов. Железнодорожная касса оказалась закрыта уже в пять, и хотя поезд ещё ходили, но ждать было долго. Я заехал в село за колбасой и хлебом, полюбовался заброшенной церковью, из самых стен поросшей берёзами, и подался в поле, где небо и сухой тёплый воздух. Последний в этом году.

В русском поле даже не ширь, а высота берёт. Не так рады храму широкому, как храму высокому. Поле похоже на храм, если выходишь на него через арки леса. И опушка — притвор его, горизонт закатного солнца — царские врата. Ну а что за горизонтом — этого нам с кондачка не постичь. Так что жги костёр в ночи и молись. Слушай хор пернатых и знай, что ты — в нём. Не было бы тебя тут на опушке — и птицы бы пели по-другому совсем.



Невдалеке остановилась машина. Я слышал, как хрякнула подвеска по ссохшимся в камень колеям. Обогнув кустарник со стороны опушки, вышел человек. Седой, худой и высокий, разглаживая усы, он наблюдал за мной какое-то время.

— Доброго вечера, — крикнул я.

— Отдыхаете? — спросил человек.

— Ночую, да.

— Вы один что ли?

Он обошёл меня по дуге, запустив глаз по рюкзаку, велосипеду и общему моему одичалому виду, и кивнул.

— Ладно, костёр не забудь потушить, как уйдёшь.

И направился обратно за опушку. Только на самом краю обернулся.

— И осторожней тут, а то всякое...

Хлопнула дверь, зашуршали колёса, и сумерки стали ещё глубже, ещё тише.

Чего он тут высматривал? Вспомнился уснувший под деревом мальчик, тот разговор про сбежавшего зека, и что он прячется в лесу.

С первыми звёздами смолкли последние птицы. Теперь только костёр остался собеседником. В его треске и ворчании были мне дружественные слова на чужом языке. И носителя этого языка ничуть не смущало, что собеседник не может ответить. Носитель знал, что просто слышать его — уже достаточно, чтобы чувствовать, что ты не один.

Искры поднимались к звёздам, и — о чудо! — звёзды опускались к земле. То был звездопад августа. Иначе — опалённые головни космического железа, расколотые метеориты. Небесный бильярд и никаких тебе звёзд. Всё зависит от того, романтик ты или скептик. И одному — готовые к пожеланиям звёзды, другому — орбитальный мусор.

Я вспомнил фотографию дельты Волги, полученную с космической станции. На ней тёмные жилы сшивали взвесь золотых и болотных лоскутов. Фотограф — космонавт, затерянный в пучинах тьмы, — радовался, очевидно, беря в объектив родную Волгу-матушку, но сторонний человек, не знавший, что перед ним, испугался бы чудовищной бесформенности с намёком на что-то живое, но бесконечно чуждое человеческому организму. Говорят, страх проходит тогда, когда даёшь ему имя и полку с бирочкой на витрине своего ума.

Я услышал треск, и он раздался не от костра. Обернулся. Чёрная масса опушки висела за спиной — оттуда был звук. Глаза, ослеплённые звёздами и костром, постепенно привыкли к темноте и отделили от неё светлый предмет. Я сморгнул — предмет исчез. Но тут же появился ближе, и вот уже — шагах в двадцати от меня.

— Ништанко, — гаркнул голос, — свои!

Я подумал, что он обратился к кому-то ещё, ибо не понял первого слова. Но он шёл один.

Это был даже не худощавый, а крайне иссохший человек без возраста. Лицо его шло волнами — от выпученных губ к вдавленному носу, надбровным курганам и бороздам плоского маленького лба. Вместо глаз — склизкие семечки, различить которые можно было только в свете пламени.

— Не возражаешь, братух, погреюсь? — он выставил к костру ногу в мокрой шароваре. — Роса. Не находишь много.

— Грейтесь, — сказал я.

— Тебя как звать-то?

— Дмитрием.

— Лёня. Будем знакомы.

Он протянул руку, и я увидел наклочку на запястье. Впрочем, это был безобидный якорь и “Балтфлот” над морщинистым солнцем. Человек сел напротив, подмигнул чёрным провалом и начал что-то плести про лес, дороги и свой далёкий дом, но речь обильно пересыпалась чужими мне словами — не теми, которыми общается костёр, а словами иного мироустройства, иного кода реальности.

— В гуцах кружевных пузыря пустил. Не петришь? Ну ты сам-то ма-

стак, вон палатка, все дела. А я по зелени башмак. Не китую, я тут один, места чужие, сам по эстафете иду... ну, в командировке то есть был.

Многое уже не могу припомнить, и пишу вольно. Но уже тогда было ясно, что это и есть тот пресловутый, ещё из советских лагерей, воровской жаргон “по фене”.

Я молча глядел в огонь. Наговорившись, человек начал рыскать глазами. Оглядев палатку, котелок с остатками вермишели и термос, он шмыгнул и спросил:

— Ханка-то есть?

— Чего?

— Ну, шнапс... водка. Чего на сухую загораешь?

— Алкоголя нет. Чай горячий. Кружка есть.

Я передал ему кружку. Он пригубил, поставил в сторону и с явной досадой вздохнул.

Только теперь, когда он поднимал кружку, зацепив за ручку пальцем, я заметил на этом пальце синюю наколку перстнем. И ещё дальше — меч со змеей, вылезшие из рукава. Там, под рукавом, было всё густо забито тату, и хозяин галереи вовсе не стремился её скрыть. Всё встало на свои места. Я даже усмехнулся — как это мне так повезло! Человек заметил усмешку.

— Обломал тебе балдѣж? Ну ничего, ты прости дядю. Мне, братух, податься некуда нынче. Заблудился я, — он недобро засмеялся, — заблудился в этой житухе. Без визы, без боржома. Скажи, если чо, если мешаю. Костѣр у тебя хороший, на одного много будет, а? Обидно, шнапса нет. А где намутить, не знаешь?

— Магазин закрыт.

— Ну да, — он побряцал кружечкой о камень, и снова вздохнул, — И не куришь?

Я помотал головой, он выругался, и пошелестел ладонями по бритому черепу. Вместо сигареты заложил в рот пучок соломин и принялся грызть.

— Давай тогда разговоры говорить, что ли. Чего опухать?

Было ясно, что напротив меня на кортах сидит тот самый беглый, что ночевать предстоит с ним у одного костра, и понапрасну были все помыслы блаженной тихой ночи в смиренном есенинском уединении.

И всё же — внушал я себе — это сидит человек, ессе homo, пусть уже больно ударившийся о дно, но ещё не утративший единых образа и подобия. Это сидит жизнь, полный своего личного мифа микрокосм. А значит, с ним можно и нужно разговаривать, и беседа будет интересна, ибо нова. К тому же — были ведь и Шаламов, и Мандельштам, и Гумилѣв с Лихачѣвым. Тоже сидели, тоже обтесались о блатной хребет. А “Записки из мѣртового дома”, где Фѣдор Михалыч жалуется, что самое ужасное на каторге было в невозможности хотя бы пять минут за все четыре года побыть одному. Четыре года! А тут одна ночь... Так я настраивал себя внутренне на предстоящие часы. Хотя — чего кривить душой, — настроиться помогло ощущение тяжести перцового баллончика в кармане.

А он тем временем всё говорил и говорил. Так было надо — в молчании плохой знак. Когда закончатся слова, должны начаться действия, природа не любит пустоты. Но что мог сделать этот человек? Явно не встать и принести дров, не поставить чай и уж тем более к созерцанию огня и питанию слуха блаженной тишью ночи он не был склонен. Будем говорить.

— Ты сам-то чего тут?

— Журналист, — сказал я, втайне надеясь на вес значения. — Пишу для газеты.

— Опа-на, — оживился Лѣня. — Вечер перестаѣт быть томным. А чего ж тут, сенсация какая?

— Нет, всё обыденно.

— Ишь ты базаришь — обыденно. Житуха тебе скучная?

— Конечно, сенсацию-то всем надо. Да где её взять?

— Где взять? У меня их полон кишер с собой. Ночь долгая. Давай! Глядишь, наклонется, — предложил он, сползая с кортов на зад и устраиваясь у огня.

— Истории рассказывать?

— Жизнь, братуха, узнавать. До рассвета чалиться.

— Ну лады, только пускай не из нашей жизни, не про тебя, не про меня, — предложил я нейтралитет, дабы не бередить его былую рану. — Ну вроде анекдотов.

— Айда. Только парафин не лить, не фармазонить.

— Идёт.

И всю первую стражу ночи мой непростеный товарищ плёл долгую и путаную историю, глядя не мне в глаза, а на пламя. Историю о некоем вахлаке и его кореше, как он именовал их, и которые заставили бывшего Лёню удивиться природе человеческой.

— Я тёртый и думал, меня уже ничем не пронять. А тут нашёлся добрый вечер.

Этот вахлак промышлял воровством в порту.

— С баржей пенку снимал. И был у него кореш, с которым они по грузу ворочали.

И вот как-то ночью вахлак тот ждал в лодке, а кореш его с палубы дорогой яхты чемодан тащил. Вдруг портовую мглу рассёк луч прожектора, вора с чемоданом засветили, и тот сиганул в воду. Тонул, но груза не отпускал.

— Бросай! — орёт вахлак из лодки. — Не выплывешь!

— Спятил? — захлёбывается вор. — Полон чемодан валюты!

Так и не отпустил, а всё загребал одной рукой за пирс, за камни, в открытое море. Ну вахлак его и бросил, сам носом по буям, и прочь долой. И так потонул вор, не отпустив заветного чемодана.

— Знать, на тот свет прихватил валюту-то.

И вот прошло с облавы полгода, вахлак опять показывать в порт стал. И раз во время шторма, сидя на бережку, якобы починяя удочку, но сам наблюдая, кто в бухту заходит, увидел он, как поднялась волна, и на мол вынесло мертвеца. Поначалу принял его за ком водорослей, но как волны промыли ил, различим стал остов скелета в полуистлевшем саване плоти и тины. А в руках скелет мёртвой хваткой держал чемодан.

Грызёт волче солнышко тучи, кипит море, лежит мертвец, волной пришибаемый. Вахлак догадался — кореш его всплыл. Бросился на отмель к нему, веслом из мёртвой хватки чемодан выворотил, да и взял себе. Ночью в своём углу подвальном вскрыл — и впрямь купорами набитый, а стопочки все там аккурат в целлофане, чтоб не промокли.

— И давай гулять всей малиной. Много дней гулял, с вином и бабами, со всей музыкой.

Лёня долго рассказывал о похождениях богатого вора, смакуя их мечтательно и с завистью. Так, что я и впрямь начинал верить в историю. Однако дальше оказалось, что однажды ночью мертвец пришёл к вахлаку за своими деньгами. Тут уж я ухмыльнулся. Вахлак, сказывал Лёня, сам поблднев весь, схватил чемодан и кинулся бежать.

— Опять валишь, падло батистовое! — в явном негодовании кричал мертвец ему во след.

И стал вахлак с той ночи седой, кривой и заика. И стоило ему только потратить копейку с тех денег, как виделся всюду мертвец. Совсем рассудок потерял, не ест, не пьёт, с бабой не гуляет.

И вот встретил он как-то батюшку местного прихода, отдал ему чемодан, а на те деньги завещал храм построить и грехи свои там отмаливать. А в напоминание купола себе на груди набил.

— Я те купола сам видел. Ни в сказке сказать, ни пером описать — но топором не вырубить, — заключил Лёня, отирая пальцами края улыбки. — Всякие картины наблюдал, у нас на зоне... то есть... тьфу ты, пробазарился... Короче, мастеров всяких хватает, что хоть в Третьяковку вешай. А эти купола, скажу я тебе, натурально живые, и не синие, а в золоте и зеленухе все. Мордомаз рисовал, знать, от Бога. А в груди, такими куполами расшитой, сердце должно колоколом звенеть, чтоб через рёбра сладкую малину лить!

В какой-то момент я почувствовал приближение “стокгольмского синдрома” — сопричастности и сочувствия, которые возникают у заложника

к бандиту. Было ли это изворотливостью ума в надежде усыпить зверя внутри человека? Ведь в нём был зверь, да. Он выскакивал во внезапных конвульсиях скул, когда бугры желваков взбухают и опадают несколько раз подряд. Когда тик и дурное лихо в мелких мышцах лица — напоминание о прошлой боли, а в глазах — укол былых зрелищ. Или отупение взгляда — какие картины вставали перед ним? Сколько лет безнадеги и видений трупного ужаса?

Зверь этот не сидел в засаде, потому как не прятал следов своих когтей, и лапы его отпечатались на руках человека чёрной самодельной краской из жжёных подошв с каплей йода. А наколотый “МИР” на запястье, что успокоил меня тогда, позже я нашёл в справочнике, и аббревиатура эта означала “Меня Исправит Расстрел”.

Но когда он, захваченный древней стихией повести, вёл изукрашенный пёстрым словом рассказ свой, ни разу при том не матюгнувшись и прут не перегнув, лицо его преображалось.

Я вспомнил восточную притчу о стакане с водой, в котором демон видел яд, ангел — нектар, а человек — водицу, по мере их заслуг. То же самое и с лицом человеческим. Чистый сердцем увидит в другом чистое лицо, возможно ещё оставшееся от ребёнка внутри того. А верное слово часто воистину сердце слушающего, позволяя на миг заглянуть за мрачный полог прожитых лет говорящего. Он был не плох, этот беглый зек, но, увы, наверняка сломлен миром зла. И сам знал это, а потому и мучился и щетинился зверем.

Наступила моя очередь. Но что можно было рассказать ему? Все мои истории казались теперь наивными, а выдумать на ходу я не умел. И тогда на помощь пришли инстанции высшие.

— Так вот, — начал я, вспоминая давно пройденное. — Был один инспектор...

— Мент? — перебил Лёня.

— Нет, по коммунальной части. Поехал он как-то в глубинку местное землепользование проверять. Городок был далёкий и тёмный. А инспектор — видный и при галстуке. И вот закончил свою работу, все взятки взял. Можно домой возвращаться. Да как бы не так...

— Дунькой пырнули? — с надеждой перебил Лёня.

— Никто его не пырлял. Просто автобусы не ходили. В том городе в пять — последний...

— А он что, без своего мотора?

— Так его ж губернатор водкой потчевал. За руль нельзя.

Лёня вздохнул, почесавши за ухом, и уныло потрянул кружкой с остатками заварки.

— Ну, ему мужики и говорят, мол, за автовокзалом мотористы наши смену ждут, ты пойдёшь да попроси — отвезут в город на своей машине. Инспектору и пошёл. Мотористы отвозить его отказались, ибо скоро на смену, а если везти, то это пять часов туда-сюда, умориться можно, а иные пьяные. И только один согласился. Здоровенный такой оглобля, рябой, нос ломаный, выше на две головы...

— Короче, наш братуха, — крикнул Лёня.

— Инспектор как на него посмотрел — так мандраж его и взял. Но делать нечего — едут. Колымага у мужика дребезжит по ухабам, мотор ревёт, из-под колёс болото плещет. А инспектор чует — мужик на него вроде как косится, изучает. И думает: ну всё, сейчас обует, свяжет и тут в лесу на болотах оставит... если чего не хуже. Взятки-то я на сто тыщ набрал!

Давай его забалтывать: чего у вас тут, как с разбоем? Мужик говорит, тихо всё, преступности нет. Инспектор дрожит, но ухмыляется: и хорошо, говорит, что нет, а то опять носы бить да шеи ломать. Ты думаешь, я такой тощий и в морду дать не смогу? Ого! У меня чёрный пояс по каратэ, боксом всю жизнь живу. Такого вот, как ты, уложу запросто. Кости целой не оставлю. Мужик глянул, нахмурился, и быстрее поехал. Едут они по тёмному лесу, а инспектор в окно смотрит, но мест не узнаёт. Закопшился, паникует — ты куда меня завёз? Это что за глушь такая? Мужик плечами жмёт — всегда тут ездим, уважаемый, другой дороги нет. Инспектор кивнул:

тогда помедленней езжай, а то за нами ещё две машины едут с моими братьями, должны нас тут догнать. Охрана моя. У меня, вон гляди, под каждым кустом крыша сидит. Мужик согласен, едет тише. А тот всё заливает: я и без охраны, конечно, могу. У меня тут два револьвера — всегда, мол, с собой в командировки беру, служебные. Иной раз приходилось пользоваться. Эх, говорит, руки мои в крови. Только всё это заслуженно — сколько я головорезов на дорогах перебил! А мужик всё поглядывает и хмурится. Ну точно, думает инспектор, плохо дело, раз так зыркает... и говорит ему: что, показать тебе мои револьверы? Ну-ка сейчас. Сам под пиджак рукой лезет. Тут уж мужик по тормозам, дверь нараспашку и прочь из машины. Орёт: Богом прошу, Христа ради, не трожь меня, машину бери, кошелёк бери, всё отдам, не стреляй! И в кусты, и в ночь.

Лёня уже всю утиную кряку смеялся.

— Ну взял на понтовку мужика твой инспектор!

— Так и сидел один в чужой машине посреди леса... Пересолил.

Повторяя обрывки моего рассказа, Лёня откинулся в траву, заложив руки за голову, и видно, вполне довольный.

Спасибо, Антон Павлович!

Накатывал сон, но я решил держаться до утра. Ведь стоило мне заснуть, проснётся зверь. Распихивать деньги и документы по карманам было уже поздно. Я притащил ещё дров и приготовился к стоянию.

Лёня спать тоже не собирался, и вскоре завёл новую историю, из которой я ничего не понял. Видимо, был в ней и смысл и сюжет, но он так усердно закодировал всё это феней, что оставалось плыть по волнам звука, иногда удивляясь ладности и мелодичности тайного состава тёмных слов. Фольклор, да и только.

Однако заговор, которым владеют колдуны, гипнотизёры и барды, потоком бессмыслицы способен усыпить рассудок и волю. Ум скользит по топким кочкам, не находя себе опоры для анализа, и валится в омут беспомыслия, засыпая.

Лицо моего собеседника вдруг стало видиться мне в углях, губы красными змейками шевелились там. Голос был неотличим от тёмной вязи трав и кустов на заднем фоне. И вдруг он напылил на меня огромной, до самых крон сосновых, улиткой с человеческим лицом. Я вяло сопротивлялся напору её танковых гусениц, скрутивших огромный панцирь, и только ощущал вину за что-то. Потом меня раздавило.

Я открыл глаза в туманное утро. Было очень холодно и мокро от росы. Кашлянул, и тут же надо мной нависло рубленое лицо Лёни.

— Чего дохает, простыл?

Тело болело — я проспал несколько часов сидя с головой меж колен. Костёр давно потух, а Лёня расхаживался, махал руками, видно, стараясь согреться.

— Ничего я не трогал. Сотенку у тебя взял на хлебушек. Вот она, — он выудил желтоватую купюру из кармана. — Остальное на месте. Смотрю, тоже не жируешь.

Мой кошелёк аккуратно лежал поверх рюкзака.

Отвечать не хотелось. Мелькнула искра: жив, и то хорошо.

— Вижу, человек ты честный, добрый — ничего не вынюхиваешь про меня. И не брезгуешь. Так и надо. Иному фраеру вилы бы вкатил ночью. Но на мопса не беру, да и понты бить не буду. Скажу как есть. За мокруху я сидел. Но не брата убил, а бабу. Жена левым галсом пошла, я ей кливера и почикал. Да не стоит оно того, слышь.

Потом махнул рукой от затылка, и вздохнул.

— Да тебе что? Ты, поди, баб уважаешь. Я и не стану веру твою подрывать. Я и сам уважал, когда трезвый ходил. А как до ханки добирался... знал, что рано или поздно руки вымочу. — Он снова вздохнул. — А жаль, нет ханки-то у тебя. Ну ладно, ата! Не поминай лихом.

Иссечённый белыми рубцами затылок его таял в дымке, пока не исчез у самой опушки. И могло показаться, что и не было этой ночи, и не было человека. Вот так целые вселенные живут, цветут и гаснут рядом с нами, и в суете нашего быта легче всего забыть и никогда не вспоминать об этих ярких, грозных, просто по не той стезе идущих мирах.